

Странная рукопись появилась в журнале «Новый мир» осенью 1961 года: печать с двух сторон, без полей, без пробелов между строчками, название — «Щ-854», и без имени автора. Редактор отдела прозы Анна Берзер сразу поняла цену удивительной новинки и передала её главному редактору Александру Трифоновичу Твардовскому со словами: «Лагерь глазами мужика, очень народная вещь». «В шести словах нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского, — оценил позже Солженицын. — К этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущёв... Как Твардовский потом рассказывал, он вечером лёг в кровать и взял рукопись. Однако после двух-трёх страниц решил, что лёжа не прочитаешь. Встал, оделся. Домашние его уже спали, а он всю ночь, перемежая с чаем на кухне, читал рассказ — первый раз, потом и второй. Так прошла ночь, пошли часы по-крестьянскому утрение, уже Твардовский и не ложился. Он звонил и велел узнавать: кто же автор и где он. Особенно понравилось ему, что это — не мистификация какого-нибудь известного пера, что автор — и не литератор, и не москвич».

С той ночи задался Твардовский недостижимой, казалось, целью — опубликовать рассказ об одном дне Ивана Денисовича в своём журнале. «Печатать! Печатать! Никакой цели другой нет. Всё преодолеть, до самых верхов добраться... Доказать, убедить, к стенке припереть. Говорят, убили русскую литературу. Чёрта с два! Вот она, в этой папке с завязочками. А он? Кто он? Никто ещё не видал».

«Он» оказался школьным учителем. Последние пять лет — в Рязани, преподаёт физику и астрономию. А прежде? Математику преподавал, в сельской школе под Владимиром. А до того? В ссылке был, в Казахстане. (И сослан притом «навечно» — но в 1956 хрущёвская оттепель растопила ту «вечную мерзлоту».) Однако по порядку.

Александр Исаевич Солженицын родился в 1918 году в Кисловодске. Родители его (оба — из крестьян, первые в своих семьях получившие образование) венчались в августе 1917 на фронте, где отец служил подпоручиком в Гренадерской артиллерийской бригаде. В 1914 году добровольцем уйдя на германскую войну из Московского университета, провоевав три с половиной года и вернувшись на Кубань в начале 1918, — отец погиб от несчастного случая на охоте за полгода до рождения сына. Мать растила маль-

чика одна, они бедствовали, жили в холодных гнилых хибарках, топили углем, воду носили в вёдрах издалека. Саня много читал и «непонятным образом с восьми-, девятилетнего возраста почему-то думал, что должен быть писателем, когда ещё понятия не имел, во что это может вылиться». Детство и юность Солженицын прожил в Ростове, там окончил среднюю школу, потом физмат Ростовского университета, совмещая с заочной учёбой на литературном факультете Института Истории, Философии и Литературы (МИФЛИ). Война застала его в Москве во время летней сессии.

Начав войну рядовым, прошёл краткосрочный курс артиллерийского училища и с декабря 1942 стал командиром батареи звуковой разведки, в звании лейтенанта. Воевал на Северо-Западном фронте, затем на Брянском. После Орловской битвы награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, после взятия белорусского Рогачёва — орденом Красной Звезды. Командуя своей батареей, был непрерывно на фронте до февраля 1945, когда — уже в Восточной Пруссии, в звании капитана — был арестован за перехваченную цензурой переписку со школьным другом. В письмах молодые офицеры именовали Сталина — за «измену делу революции», за коварство и жестокость — Паханом. Расплата была неминуема. Ему было 26. Он получил 8 лет лагерей и «вечную ссылку» по отбытии срока.

В заключении Солженицын, переполненный впечатлениями предвоенной юности, картинами войны, рассказами однополчан, жестокими буднями следственных тюрем и первых лагерей, начал писать, вернее — сочинять в уме, без бумаги. На вопрос: «Как вы стали писателем?» — Солженицын ответил: «Глубоко — уже в тюрьме. Я делал литературные опыты и перед войной, писал уже настойчиво в студенческие годы. Но это не была серьёзная работа, потому что у меня не хватало жизненного опыта. Глубоко в тюремные годы я стал работать конспиративно, скрывая сам факт, что я пишу, — более всего скрывая это. Запоминал и заучивал наизусть сперва стихи, а потом уже и прозу». Часть срока он провёл на «шарашке», где заключённые специалисты разрабатывали средства радио- и телефонной связи. На этом жизненном материале написан роман «В круге первом».

С 1950 по 1953 Солженицын — в каторжном лагере Экибастузе (Казахстан), где заключённые лишались имён, их выкликали по номерам, нашитым на шапку, грудь, спину и колено. Там он работал в бригаде каменщиков, потом в литейке, этот лагерь и описан в рассказе «Один день Ивана Денисовича». Писатель вспоминал: «...в какой-то долгий лагерный зимний день таскал носилки с напарником и подумал: как описать всю нашу лагерную жизнь? По сути достаточно описать один всего день в подробностях... день самого простого работяги, и тут отразится вся наша жизнь. И не надо нагнетать каких-то ужасов, не надо, чтоб

это был какой-то особенный день, а — рядовой, вот тот самый день, из которого складываются годы. Задумал я так, и этот замысел остался у меня в уме, девять лет я к нему не прикасался.

За год до конца срока обнаружилась у Солженицына раковая опухоль, его оперируют в лагерной больнице, но рак успел дать метастазы. Сосланный в аул Кок-Терек Джамбульской области, он преподаёт в средней школе математику, физику, астрономию — и пишет. Однако метастазы разрастаются, боль мучает неотступно, и Солженицын, с трудом получив от комендатуры разрешение, едет в онкологическую клинику Ташкента «почти уже мертвецом». Вопреки безнадежным прогнозам мощные дозы рентгенотерапии возвращают его к жизни. Лечение длится несколько месяцев. (Позже этот опыт умирания и выздоровления напичкает повесть «Раковый корпус».) Чудом излечившись, Солженицын расценил это как данную свыше «отсрочку».

И только в мае 1959, уже в Рязани, сел и написал задуманный рассказ. Написал — и спрятал. А рискнул предложить в печать — лишь спустя два с лишним года, после заливающей атаки Хрущёва на «культ личности» Сталина на XXII съезде. И Твардовский теперь, начав битву за «Ивана Денисовича», стал собирать для передачи на властный Олимп рецензии самых авторитетных писателей. К. И. Чуковский назвал свой отзыв «Литературное чудо»: «Шухов — обобщённый характер русского простого человека: жизнестойкий, „злоупорный“, выносливый, мастер на все руки, лукавый — и добрый... С этим рассказом в литературу вошёл очень сильный, оригинальный и зрелый писатель... Мне даже страшно подумать, что такой чудесный рассказ может остаться под спудом». С. Я. Маршак, сверх официального отзыва: «По простоте и мужеству [автор], пожалуй, от протопopa Аввакума... В его вещи народ от себя заговорил...» Прочитав рукопись, Анна Ахматова отчеканила: «Эту повесть о-бя-зан прочитывать и выучить наизусть — *каждый гражданин* изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза».

И вот, спустя год как «пещерная машинопись» попала в журнал, венчая одиннадцать месяцев усилий, манёвров, отчаяний и надежд Твардовского, в ноябрьской книжке «Нового мира» рассказ напечатан, тиражом более 100 тысяч. Это было чудо. «Напечатание моей повести в Советском Союзе, в 62-м году, — говорил спустя 20 лет Солженицын, — подобно явлению против физических законов, как если б, например, предметы стали сами подниматься от земли кверху или холодные камни стали бы сами нагреваться, накаляться до огня».

В том ноябре не умолкал телефон в «Новом мире», благодарили, плакали, искали автора. В библиотеках записывались в очередь, на улицах москвичи осаждали киоски, — память о том не побледнела и через треть столетия, вот вспоминает академик

С. С. Аверинцев: «С незабвенным выходом в свет того одиннадцатого новомирского номера жизнь наших смолоду приунывших поколений впервые получила тонус: проснись, гляди-ка, история ещё не кончилась! Чего стоило идти по Москве... видя у каждого газетного киоска соотечественников, спрашивающих всё один и тот же, уже разошедшийся журнал! Никогда не забуду... человека, который не умел выговорить название „Новый мир” и спрашивал у киоскёрши: „Ну, это, это, где вся правда-то написана!” И она понимала, про что он; это надо было видеть... Тут уж не история словесности — история России». В том же ноябре Варлам Шаламов писал Солженицыну: «Я две ночи не спал — читал повесть, перечитывал, вспоминал... Повесть — как стихи — в ней всё совершенно, всё целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что „Новый мир” с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал».

Хрущёвская «оттепель», однако, скоро кончилась, и уже во второй половине 60-х «Один день Ивана Денисовича» тайным распоряжением изымали из библиотек, а в январе 1974 приказом Главного управления по охране государственных тайн в печати был введён директивный запрет на все произведения Солженицына, напечатанные в СССР. Но к тому времени рассказ был прочитан миллионами наших граждан, переведен и издан на десятках европейских и азиатских языков.

А главное — публикация «Ивана Денисовича» будто прорвала плотину: «Письма мне, письма, уже сотни их, — ошеломлён Солженицын, — и новые пачки доставляют из „Нового мира”, и каждый день притаскивает рязанская почта — просто „в Рязань”, без адреса... Взрыв писем от целой России, нельзя вобрать ни в какие лёгкие, и какая же высота обзора жизней эческих, никогда прежде не достижимая, — льются ко мне биографии, случаи, события... Неудивительно, что нравственная необходимость писать «Архипелаг» стала для него непреложной.

Так Солженицын стал доверенным летописцем народного горя.

---

Нелегко, однако, найти способ обработать огромный, неожиданно приходящий, незапланированный, неорганизованный материал. Нужно принять всё, что сохранилось, и каждому эпизоду найти место: «В лагере мне приходилось бить чугун, тяжёлые чугунные предметы на куски, их бросали в печь... и получался чугун совсем иного назначения. Так я для шутки называю свои материалы кусками чугуна, очень ценного качества. Пускать его в переплавку, и он в новом виде появляется».

В какую же форму отлить этот переплавленный чугун? Солженицын был убеждённым противником измышления новых форм лишь ради новизны, он полагал, что, если чутко вслушаться, — материал сам подскажет и форму, и плотность, и ткань произведения. Так было и на этот раз: «Я никогда не думал о форме художественного исследования, а материал „Архипелага” мне её продиктовал. Художественное исследование — это такое использование фактического (не преображённого) жизненного материала, чтобы из отдельных фактов, фрагментов, *соединённых, однако, возможностью художника*, — общая мысль выступала бы с полной доказательностью, никак не слабей, чем в исследовании научном».

Но и вольно, спокойно расположиться с этим взрывным материалом было невозможно. Скрывать приходилось даже сам факт, что идёт работа над такой книгой. Писатель никогда не держал, не совмещал на одном столе всех собранных материалов. А главный корпус «Архипелага» написал в потайном месте, в Укывище, как его называл. Он работал там две зимы кряду — 1965/66 и 1966/67. Но лишь через четверть века, в 1991, смог назвать — без опасности для верных друзей — место своего Укывища и рассказать, как шла работа. То был хутор под Тарту, в Эстонии, зимой пустовавший; в доме — большие окна, старинные печи, запас дров. «В любимый Тарту я приехал в снежно-инеистое утро, когда особенно была изукрашена его университетская старина и особенно казался город — полной заграницею, Европою... и посетило меня впервые в жизни ощущение безопасности, будто совсем я уехал из-под треклятой облавы ГБ. Это успокаивающее чувство облегчило начало моей работы».

В первую зиму писатель пробыл в Укывище 65 дней, во вторую — 81. За это время сотни разрозненных заготовок превратились в жгучий текст, в машинописную книгу, больше тысячи страниц. «Так, как эти 146 дней в Укывище, я не работал никогда в жизни, это был как бы даже не я, меня несло, моей рукой писало, я был только бойком пружины, сжимавшей полвека и вот отдающей... Во вторую зиму я сильно простудился, меня ломило и трясло, а снаружи был тридцатиградусный мороз. Я всё же коллол дрова, истапливал печь, часть работы делал стоя, прижимаясь спиной к накалённому зеркалу печи вместо горчичников, часть — лёжа под одеялами, и так написал, при температуре 38°, единственную юмористическую главу («Зэки как нация»). Связи с внешним миром я себе не оставил никакой... но то всё, во внешнем мире, и не могло меня касаться: я соединился со своим заветным материалом, и единственная и последняя жизненная цель была — чтоб из этого соединения родился «Архипелаг»... а воротясь во внешний мир принять хотя б и казнь. Это были вершинные недели и моей победы и моей отрешённости».

Ещё год дописывался, добавлялся, доправлялся «Архипелаг», наконец в мае 1968 в дачном домике под Москвой — пока соседей нет, и стук машинок не слышит никто — собрались писатель с помощницами в три пары рук печатать и выверять окончательный текст. «От рассвета до темени правится и печатается „Архипелаг“, а тут ещё одна машинка каждый день портится, то сам её паяю, то вожу на починку, — вспоминал Солженицын. — Самый страшный момент: с нами — единственный подлинник, с нами — все отпечатки „Архипелага“. Награнный сейчас ГБ — и слитный стон, предсмертный шёпот миллионов, все невысказанные завещания погибших, — всё в их руках, этого мне уже не восстановить... Столько десятилетий им везло — неужели попустит Бог и теперь? неужели совсем невозможна справедливость на русской земле?»

И вот «Архипелаг» закончен, отснят, плёнка скручена — так хранить будет легче, а когда-то и переслать в недосягаемое, надёжное место. И в этот самый день приходит новость: есть возможность на днях *отправить* «Архипелаг»! — «Только потянулись сладко, что работу об-угол, — как уже в колокол! в колокол!!! — в тот же день и почти в тот же час! Никакой человеческой планировкой так не подгонишь! Бьёт колокол! бьёт колокол судьбы и событий — оглушительно! — и никому ещё неслышно, в июньском нежном зелёном лесу».

Приехал в Москву на неделю с группой ЮНЕСКО Саша Андреев, русский парижанин, внук писателя Леонида Андреева — друзья Солженицына хорошо знают всю семью. Просить его, не просить? И согласится ли? А если на таможне досмотрят? — гибель и книге, и автору, и ему самому. Но и — будет ли другой такой случай? «Зато — *руки чистые*: не корыстные люди, с русским подлинным чувством». — Так бы хорошо сейчас вздохнуть, отдохнуть — но не даёт послабленья долг перед погибшими. Решили отправлять. «Только-только вынырнуло сердце из тревоги — и ныряет в новую. Отдышки нет». — Прошла мрачная, тревожная, давящая неделя, пока пришла весть об удаче. Солженицын был счастлив: «Свобода! Лёгкость! Весь мир — обойми! я — разве в оковах? я — зажатый писатель? Да во все стороны свободны мои пути! Сброшено всё, что годами меня огрузняло, и распаивается простор в главную вещь моей жизни — „Красное Колесо“».

---

В октябре 1970 — радио-взрыв из Стокгольма: Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе! «За нравственную силу, с которой он продолжил извечную традицию русской литературы».

«Премия свалилась, как снегом весёлым на голову!» — вспоминал то время Солженицын. Уж какое, казалось бы, веселье? — пять лет как имя его под запретом, личный архив — изъят и арестован, не печатается в СССР ни единая строка, — да всего-то и было напечатано после «Ивана Денисовича» четыре рассказа, а роман, повесть, пьесы, даже стихотворения в прозе — перед ними стена непрошибаемая, только Самиздат благодарно выпитывает их. Год назад Солженицына исключили из Союза писателей. А он — с упоением кончает, кончает «Август Четырнадцатого», первый «Узел» заветной своей эпопеи о русской революции. В Стокгольме получать премию — не едет, боится, что не пустят обратно.

Но в том удача, думает Солженицын, что премия пришла, по сути, рано: «Я получил её, почти не показав миру своего написанного, лишь „Ивана Денисовича“, „Корпус“ да облегчённый „Круг“, всё остальное — удержав в запасе. Теперь-то с этой высоты я мог накатывать шарами книгу за книгой, утягчённые гравитацией... Главный-то грех ныл во мне — „Архипелаг“. Сперва я намечал его печатанье на Рождество 1971. Но вот оно и пришло, и прошло... уже Нобелевская премия у меня — а я отодвигаю? для тех, кто в лагерные могильники свален, как мороженые брёвна, с дрог по четыре, мои резоны — совсем не резоны. Что было в 1918, и в 1930, и в 1945 — неужели в 1971 ещё не время говорить? Их смерть хоть рассказом окупить — неужели не время?..»

Но ведь Архипелаг — только наследник, дитя Революции. А о ней у нас — ещё больше искажено, перевёрнуто, скрыто, и следующим поколениям докопаться будет ещё трудней. Открыть «Архипелаг» — голова на плаху, эту книгу — автору не спустят, и экам-свидетелям не поздоровится. После «Архипелага» уже не дадут писать роман о революции — значит, как можно больше надо успеть до.

«В мирной литературе мирных стран — чем определяет автор порядок публикации книг? Своею зрелостью. Их готовностью. А у нас — это совсем не писательская задача, но напряжённая стратегия. Книги — как дивизии или корпуса: то должны, закопавшись в землю, не стрелять и не высовываться; то во тьме и беззвучии переходить мосты; то, скрыв подготовку до последнего сыпка земли, — с неожиданной стороны в неожиданный миг выбегать в дружную атаку. А автор, как главный полководец, то выдвигает одних, то задвигает других на пережидание».

И Солженицын — с головой погружён в «Октябрь Шестнадцатого», и материалы собирает для Узлов следующих, и в Тамбовскую область едет, ища наглухо втоптаные следы Антоновского восстания, — а появление «Архипелага» окончательно назначает на май 1975. Но судьба распоряжается иначе. В августе 1973, после долгой слежки за одной из помощниц Солженицына, в череде

трагических событий КГБ обнаруживает и захватывает промежуточный машинописный экземпляр «Архипелага». Писатель узнаёт об этом «совсем случайным фантастическим закорочением, какими так иногда поражают наши многомиллионные города», — и тут же, 5 сентября, шлёт в Париж распоряжение: немедленно печатать! И чтоб на первой странице стояло:

«Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед ещё живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь, когда Госбезопасность всё равно взяла эту книгу, мне ничего не остаётся, как немедленно опубликовать её».

Книгу тайно набирают и печатают в старейшем русском эмигрантском издательстве «ИМКА-пресс» — и 28 декабря 1973 мировое радио и пресса сообщают: «Архипелаг ГУЛАГ», первый том, вышел в Париже. Сначала — полное обомление и тишина, да ведь Новый год, — но с середины января распалется шумная газетная травля, с каждым днём накалявшая градус «народного гнева». Навстречу ей несутся европейские отклики: «Огненный знак вопроса над всем советским экспериментом с 1918 г.». «Может быть, когда-нибудь мы будем считать появление „Архипелага“ отметкой о начале распада коммунистической системы». «Солженицын призывает к покаянию. Эта книга может стать главной книгой национального возрождения, если в Кремле сумеют её прочесть». И на травлю: «Против вооружённых повстанцев можно послать танки, но — против книги?» «Расстрел, Сибирь, сумасшедший дом только подтвердили бы, как прав Солженицын». Западные журналисты в Москве пробиваются к писателю: «Как, вы думаете, поступят с вами власти?» — Он отвечает: «Совершенно не берусь прогнозировать. Я выполнил свой долг перед погибшими, это даёт мне облегчение и спокойствие. Эта правда обречена была уничтожиться, её забивали, топили, сжигали, растирали в порошок. Но вот она соединилась, жива, напечатана — и этого уже никому никогда не стереть». Он объявляет, что отказывается от гоноров за «Архипелаг»: «они пойдут на увековечение погибших и на помощь семьям политзаключённых в Советском Союзе».

Власть лихорадочно ищет, как избавиться от Солженицына. Раздавить его на глазах у мира, уже читающего «Архипелаг», не решились. 12 февраля 1974 его арестовывают, привозят в Лефортовскую тюрьму, предъявляют обвинение в «измене родине», на следующий день зачитывают Указ о лишении гражданства, везут под конвоем в аэропорт и высылают из страны.

---

Что же за книга такая — «Архипелаг ГУЛАГ»? Что вышло из переплавки тяжёлых чугунных осколков?



«Архипелаг возникает из моря» — так названа глава о легендарных раннесоветских Соловках. Каковы же очертания всплывшего Архипелага?

Вслед за автором мы ступаем в ладью, на которой поплывём с острова на остров, то протискиваясь узкими протоками, то несясь прямыми каналами, то захлёбываясь в волнах открытого моря. Такова сила его искусства, что из сторонних зрителей мы быстро превращаемся в участников путешествия: содрогаемся от шипения: «Вы арестованы!», изводимся в камере всю бессонную первую ночь, с колотящимся сердцем шагаем на первый допрос, безнадежно барахтаемся в мясорубке следствия, заглядываем по соседству в камеры смертников, — и через комедию «суда», а то и вовсе без него нас вышвыривает на острова Архипелага. — Мы сутки за сутками едем в забитом арестантами «вагонзаке», мучаясь от жажды; на пересылках нас грабят блатные; в лагерях на Колыме и в Сибири мы, истощённые голодом, замерзаем на «общих работах». Если хватает сил, мы оглядываемся и видим вокруг — и слушаем рассказы — крестьян и священников, интеллигентов и рабочих, бывших партийцев и военных, стукачей и «придурков», уголовников и «малолеток», людей всех вер и народов, населявших Советский Союз. И лагерное начальство видим, охранников, «сынков с автоматами». И каторжные лагеря, колонны эков с лоскутными номерами в окружении овчарок, рвущихся с поводков. Мы сами, может быть, никогда не решились бы на побег — но с какой страстью, и надеждой, и отчаянием следим мы за побегами смельчаков! И вот приходит время восстаний, — мы читаем о них и уверенно знаем, что и мы были бы со всеми, «когда в зоне пылает земля». — А те из нас, кто выжил, попадают в ссылку, и ссылка та иногда тяжелее лагеря. Тут узнаём, что миллионы наших сограждан были, оказывается, выброшены из родных мест: «мужичья чума» сгноила лучших, рабочих, независимых крестьян с их семьями, при каждой судороге внутрипартийной борьбы «вычищали» и высылали сотни тысяч ни в чём не повинных горожан, а во время и после Великой войны — ссылали целые народы.

И ещё сверх этого гигантского полотна, сверх сотен людских судеб — разворачивает Солженицын историю наших карательных потоков, «нашей канализации», прослеживает путь от ленинских декретов к сталинским указам, — и становится видно с жестокой ясностью, что не цепь «ошибок» и «нарушений законности» вздвигла проклятый Архипелаг, а был он неизбежным порождением самой Системы, без этой нечеловеческой лютости не удержать ей власть.

Но если бы всем тем исчерпывался «Архипелаг ГУЛАГ» — его постигла бы судьба исторических трактатов: с уходом в прошлое описанной эпохи они становятся источником сведений о ней,

в лучшем случае — её памятником. Однако «„Архипелаг” невозможно рассматривать как *всего лишь* произведение литературы, хотя это литература, и литература великая... Это нечто совершенно уникальное, не имеющее аналогов ни в русской, ни в западной литературе», — писал один из первых критиков. Что это? — историческое исследование? личные мемуары? политический трактат? философское размышление? — нет, «скорее сплав всех этих жанров, где целое значительнее суммы отдельных его составляющих».

Точнее всех те, кто назвал «Архипелаг» эпической поэмой. Но о чём поэма?

«Пусть захлопнет книгу тот читатель, кто ждёт, что она будет политическим обличением, — написал Солженицын. — Если б это было так просто! — что где-то есть чёрные люди, злокозненно творящие чёрные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека... Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятom злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце — неискоренённый уголок зла».

Книга эта — о восхождении человеческого Духа, о единоборстве его со злом. Вот почему, закрывая её, помимо боли и гнева читатель чувствует прилив силы и света.

---

«Эта книга уникальна ещё и тем, что она мгновенно стала международным бестселлером и расходится миллионными тиражами (такого до сих пор не смог достичь ни один писатель, классический или современный), но при этом так и не опубликована на родине автора», — писали на Западе.

Вот уже на десятках языков переведен «Архипелаг», множество раз переиздан, в сотнях статей обсуждён, — а в СССР за подпольное чтение слепых отпечатков можно и срок получить. И всё же отчаянные множат и множат, на машинках и на фотобумаге, и один смельчак ухитрился нелегально ксерокопировать с парижского издания, а другой в своей столярной мастерской режет и переплетает, получают самодельные книжечки, и одну такую переслал автору с запиской: «С радостью посылаю Вам в подарок здешнее издание Книги. (Тираж — 1500, первый завод — 200 экз.) Верю, что Бог не попустит пресечь это дело. Издание — не только и не столько для московских снобов, а для провинции. Охвачены города: Якутск, Хабаровск, Новосибирск, Красноярск, Свердловск, Саратов, Краснодар, Тверь и более мелкие...» — «Чувство было необычайное: здесь, за границей, получить такую книгу из России! — записал Солженицын. — Невероятное изда-

ние, смертельно опасное для своих издателей... Так — кладут головы русские мальчишки, чтобы шагал „Архипелаг” в недра России. Нельзя представить их всех — без слёз...»

...Прошло 16 лет. Наша страна изменилась. «Архипелаг ГУЛАГ» напечатали. С автора сняли обвинение в «измене», он смог вернуться на родину. Многое, хоть и не всё, рассекретили. И пишет исследователь, долгие месяцы просидевший в наших архивах: «Когда через пятнадцать с лишним лет после крушения СССР перечитываешь „Архипелаг ГУЛАГ”, поражаешься не тому, что в книге есть фактические ошибки, а тому, насколько их мало, учитывая, что у автора не было доступа ни к архивам, ни к официальным документам... Именно благодаря своей правдивости „Архипелаг” не утратил актуальности и значимости, которых у него не отнимешь» (Энн Эпплбаум, автор книги об истории ГУЛАГа (2003), получившей Пулитцеровскую премию). — Но «в том-то и всё дело, что, сколь правдиво и объективно ни было „исследование”, любое исследование, никогда не может оно стать самим я в л е н и е м правды, ибо не имеет оно в себе силы воплощать. В том-то и всё дело, что дар претворения и воплощения дан только художнику, в этом его призвание, назначение и служение, и... в этом претворении и воплощении, наполненное плотью и кровью, новой жизнью и силой зажило „художество”» (о. Александр Шмеман).

Да как бы не сбылось печальное пророчество Л. К. Чуковской в её письме Солженицыну по прочтении «Архипелага»: «Это чудо, воскрешающее людей, меняющее состав крови, творящее новые души. И вот беда: Вы дожили до войны, тюрьмы, каторги, славы, любви, ненависти, изгнания — до всего. Есть только одно, до чего Вы не доживёте: до художественного анализа. Восхищения и возмущения мешают людям оценить художественную гениальность и постичь природу её... Когда же родится критик, который объяснит фразу Солженицына, абзац Солженицына, главу Солженицына? Легче всего с особенностями словаря, а синтаксис? Скрытый ритм, при отсутствии явного? Ёмкость слова? Новизна движения, развития мысли? Кто поднимет такую работу или хоть бы начнет её? Для того чтобы анализировать, надо привыкнуть, перестать обжигаться, — а мы прикованы к смыслу, сведениям, обжигаемся болью...»

И может быть, недаром опасался Иосиф Бродский, наш пятый Нобелевский лауреат: «Если советская власть не имела своего Гомера, в лице Солженицына она его получила... Возможно, что через 2 тысячи лет чтение „ГУЛАГа” будет доставлять то же удовольствие, что чтение „Илиады” сегодня. Но если не читать „ГУЛАГ” сегодня, вполне может стать, что гораздо раньше, чем через 2 тысячи лет, читать обе книги будет некому».

Живя в изгнании в североамериканском штате Вермонт, получал Солженицын письма от американских профессоров — мол, не могут наши студенты одолеть все три тома «Архипелага», хорошо бы сделать для них сокращённое английское издание. Автор противился, но в конце концов профессор Эдвард Эриксон убедил его и представил на рассмотрение однотомный вариант. Александр Исаевич со вздохом согласился и сказал мне: «Что делать? раз не могут полный одолеть, пусть будет этот. Но уж в России, когда время придёт, сокращать не понадобится». («Архипелаг», сокращённый Эриксоном, был издан в Соединённых Штатах в 1985 году, затем в Англии, вслед и в других европейских странах, им широко пользуются на Западе преподаватели и студенты.)

И вот спустя 20 лет, в последние годы жизни Александра Исаевича, пришлось нам признать, что и в России современная жизнь не оставляет возможности — если не студентам, то школьникам — прочесть полный «Архипелаг». И, не без горечи, поручил мне Александр Исаевич составить однотомный «Архипелаг», «школьный». Задача эта отличалась от задачи профессора Эриксона в той степени, в какой отличаются от американских — не столько знания, сколько «генетический опыт» и «коллективная память» российских школьников.

Я задалась целью, при максимально возможном сокращении объёма, сохранить структуру, архитектуру книги, чтобы она не превратилась в собрание эпизодов и осколков, но осталась непрерывным путешествием по островам Архипелага. И чтобы нашим лоцманом оставался сам Автор, проложивший для этого плаванья свою непревзойдённо выверенную траекторию.

В предлагаемом тексте сжаты, но сохранены все 64 главы полного «Архипелага» (только 3 из них сокращены «радикально»: представлены лишь своим названием и несколькими конспективными строками). Добавлены поясняющие подстрочные примечания. Дополнены словари тюремно-лагерных терминов и советских сокращений. Впервые составлен словарь значимых имён.

На конечном этапе работы важные поправки, советы и предложения дали мне многолетняя помощница и друг Солженицына Е. Ц. Чуковская, учителя-словесники Т. Я. Ерёмкина, Е. С. Абелюк, С. В. Волков. Я сердечно благодарна им и своим сыновьям, чья постоянная поддержка много значила для меня в этом ответственном и непростом труде.